

Глава III

Елена Минкина была на работе. Анна пока оставалась без места. Она заварила чаю, и мы сели поговорить. Беркман интересовался, что я планирую делать, чем собираюсь заниматься в движении. Хочу ли я посетить редакцию Freiheit? Может ли он мне как-то помочь? Беркман сказал, что ничем не занят и готов меня повсюду сопровождать; он ушёл с работы после драки с десятником¹². «Настоящий надсмотрщик над рабами, — прибавил он. — На меня он не решался давить, но я считал своим долгом вступаться и за остальных в цеху». В сигарном производстве сейчас нужны были люди, сказал Беркман, но он анархист — и потому не должен хвататься за работу. Ничто личное не имеет значения. Имеет значение только Дело. Имеет значение борьба с несправедливостью и эксплуатацией. «Сколько же в нём силы! — подумалось мне. — Как прекрасен он в своей беззаветной преданности революции! Совсем как наши погибшие чикагские товарищи».

Мне надо было сходить на 42-ю улицу — забрать швейную машинку из камеры хранения. Беркман вызвался пойти со мной. Он предложил на обратном пути проехаться до Бруклинского моста по надземной железной дороге и потом заглянуть в редакцию Freiheit на Уильям-стрит.

Я спросила у Беркмана, можно ли где-то найти в Нью-Йорке место портнихи. Я мечтала освободиться от непосильного цехового рабства. Хотелось выкроить время на чтение, а в перспективе — ещё и организовать кооперативную мастерскую. «Что-то вроде предприятия Веры из романа „Что делать?“», — пояснила я. «Ты читала Чернышевского? — удивился - Беркман. — Не в Рочестере же?» «Конечно же, не в этой глухомани, — рассмеялась я. — Кроме моей сестры Елены, там вряд ли бы кто-то стал читать такое. В Петербурге». Беркман с сомнением поглядел на меня. «Чернышевский — нигилист, — заметил он, — и его произведения запрещены в России. Ты знала кого-то из нигилистов? Только они могли дать тебе такую книгу».

Я возмутилась: как он может не верить мне! Я гневно повторила, что читала запрещённую книгу и другие, похожие — «Отцы и дети» Тургенева, «Обрыв» Гончарова. Сестра брала их у студентов и давала мне. «Прости, если я обидел тебя, — примирительно сказал Беркман. — Я не сомневался в твоих словах, я просто удивился, что такая юная девушка могла читать подобные книги».

Я задумалась над тем, какой большой путь проделала со времён своего девичества. Вспомнилось утро в Кёнигсберге, когда я наткнулась на громадное объявление о смерти царя, «убитого кровожадными нигилистами». Эта мысль повлекла за собой воспоминание из раннего детства — один случай тогда надолго превратил наш дом в обитель скорби. Мать получила от своего брата Мартина письмо со страшной вестью: их брат Егор арестован. Мартин писал, что Егор оказался замешан в дело нигилистов, его бросили в Петропавловскую крепость и скоро сошлют в Сибирь. Новость повергла нас в ужас. Мать

решила ехать в Петербург. Несколько недель прошли в беспокойном ожидании. Наконец мать вернулась, лицо её сияло от счастья. Она выяснила, что Егор был уже на пути в Сибирь. С огромным трудом, только за большую взятку, она добилась аудиенции у петербургского генерал-губернатора Трепова. Его сын был однокашником Егора, и мать настаивала: этого достаточно, чтобы поверить в непричастность её брата к делам нигилистов. Человек, близко знакомый с сыном самого губернатора, никак не может быть связан с врагами России. Мать винила во всём крайнюю молодость Егора и плакала, на коленях вымаливая у Трепова прощение. Наконец тот обещал, что прикажет вернуть юношу с этапа — разумеется, под строгий надзор. Егор должен был официально пообещать не связываться более с «бандой убийц».

Наша мать умела очень живо рассказывать истории из прочитанных ею книг. Мы, дети, ловили тогда каждое слово. Теперь подлинная история звучала в её исполнении не менее захватывающе. Я так и видела мать перед суровым генерал-губернатором — в особенности прекрасное заплаканное лицо, обрамлённое пышными волосами. Я представляла и нигилистов: чёрные, зловещие создания коварно втягивали моего дядю в заговор по убийству царя. Доброго, милостивого царя, как говорила мать, первого, кто дал евреям волю. Он прекратил погромы и собирался освободить крестьян. И его нигилисты хотели убить! «Бесчувственные убийцы! — воскликнула мать. — Их всех надо уничтожить, всех до единого!»

Жестокость матери ужаснула меня. От таких слов кровь застыла в жилах. Я понимала, что нигилисты наверняка идут рука об руку с беспощадностью, однако не могла вынести её в собственной матери. После этого случая я часто ловила себя на мыслях о нигилистах: думала, кто же они такие и отчего столь зверствуют. Когда до Кёнигсберга докатилось известие о казни нигилистов-цареубийц, я уже не чувствовала никакой озлобленности против них. Что-то необъяснимое пробудило во мне сочувствие к этим людям, и я горько рыдала над их участью.

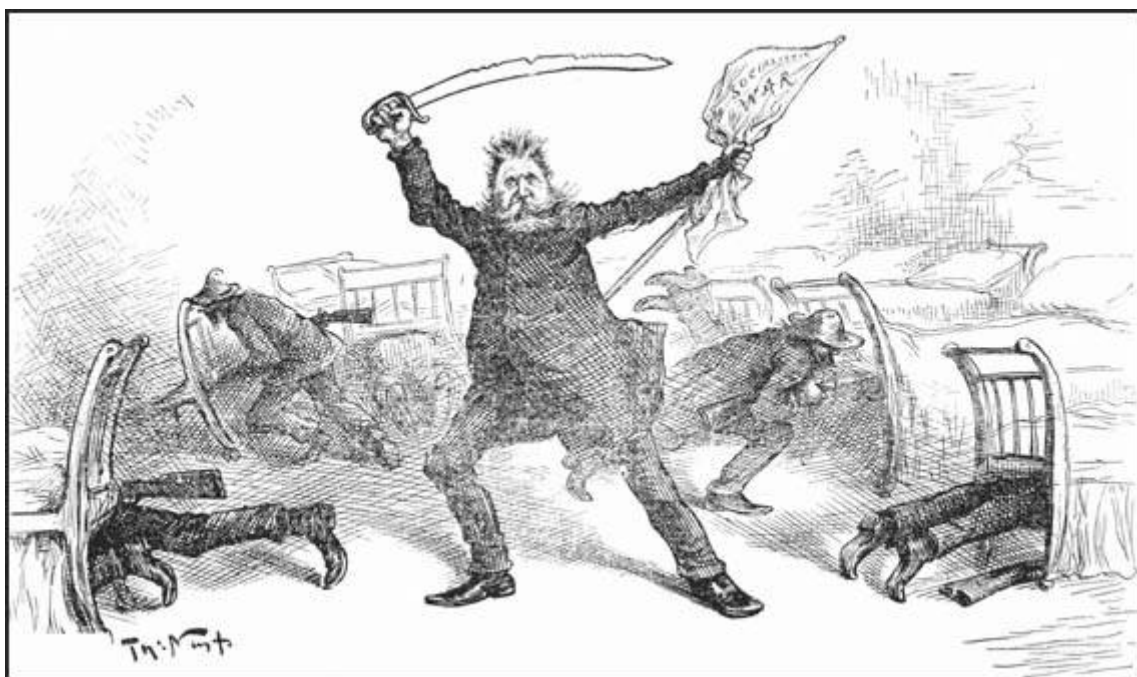
Через несколько лет я встретила слово «нигилист» в романе «Отцы и дети». А когда я прочла «Что делать?», то поняла, почему тогда неосознанно сочувствовала казнённому. Я чувствовала, что они не могли спокойно смотреть на страдания народа и именно за народ отдали жизни. Я окончательно уверилась в этом, когда узнала историю Веры Засулич — в 1879 году она стреляла в Трепова; я узнала всё от моего молодого учителя русского языка. Мать утверждала, что Трепов — добрый и человечный, а учитель рассказал мне, какой он тиран, настоящий монстр — высылал казаков с нагайками против студентов, приказывал разгонять их сходки, а арестованных ссылал в Сибирь. «Чиновники вроде Трепова — это дикие звери! — горячо восклицал мой учитель. — Они обворовывают мужиков, а потом их секут. Они мучают в тюрьме людей подлинных идеалов».

Я знала, что учитель говорил правду. В Попелянах только и было разговоров, что о высеченных крестьянах. Однажды я видела, как полуголого человека били кнутом. От этого зрелища я забила в истерику, и ещё много дней ужасная картина преследовала меня. Разговоры с учителем воскресили её: тело в крови, душераздирающие вопли, искажённые лица жандармов и резкий свист опускающегося кнута. Развеялись последние сомнения насчёт нигилистов, ещё остававшиеся после того случая из детства. Нигилисты стали для

меня героями, мучениками, моей путеводной звездой.

Беркман вывел меня из задумчивости, спросив, почему я умолкла. Я поделилась с ним своими воспоминаниями. Взамен он рассказал мне о своих: главным образом — о любимом дяде, нигилисте Максиме¹³, и о том потрясении, которое испытал, узнав, что дядя приговорён к смертной казни. «У нас много общего, не правда ли? — заметил он. — Мы даже родом из одного города. Знаешь ли ты, что Ковно подарил немало смелых сыновей революционному движению? А теперь, похоже, и смелую дочь». Я почувствовала, что краснею. В душе я испытывала гордость. «Надеюсь, что не подведу, когда придёт мой час», — ответила я.

Поезд проезжал по узким улицам. Мрачные дома стояли так близко, что можно было заглянуть в комнаты. На пожарных лестницах валялись грязные подушки и одеяла, висело грязное бельё. Беркман тронул меня за руку: следующей была наша станция — Бруклинский мост. Мы вышли и пешком отправились на Уильям-стрит. Редакция Freiheit находилась в старом доме, подниматься надо было по тёмной, скрипучей лестнице. В первой комнате несколько человек набирали статьи. В следующей мы застали Иоганна Моста — он писал за конторкой. Мельком глянув на нас, он попросил присаживаться. «Мои треклятые мучители выжимают из меня все соки, — проворчал он. — Материалы, материалы, материалы! Вот всё, что им надо! Попроси их самих написать хоть строчку — чёрта с два. Они слишком тупые и ленивые». Взрыв добродушного хохота раздался из наборного цеха в ответ на выпад Моста. Его грубый голос и скошенная челюсть, которая произвела на меня отталкивающее впечатление при первой встрече, вызывали в памяти карикатуры на Моста из рочестерских газет. Я не могла мысленно соединить в одно целое сердитого мужчину передо мной и вдохновенного оратора, выступавшего вчера вечером, чьё красноречие так увлекло меня.



Карикатура на Моста

Беркман заметил моё смущение и испуг. Он прошептал мне по-русски, чтобы я не обращала внимания — за работой Мост всегда в таком настроении. Я стала рассматривать книги,

стоявшие на полках в несколько рядов, от пола до потолка. Я задумалась над тем, как немного прочтала из их числа. Несколько лет в школе так мало мне дали. Смогу ли я когда-нибудь наверстать упущенное? Где взять время на чтение? И деньги на покупку книг? Я задавалась вопросом, может ли Мост дать какие-то из своих книг, решусь ли я попросить его наметить мне курс чтения и учёбы. В этот момент ещё один выкрик оглушил меня. «Вот мой фунт мяса, вы, шейлоки¹⁴! — гремел Мост. — Хватит, чтобы заполнить номер. Беркман, отнесите это туда, к чумазым чертям!»

Мост подошёл ко мне. Я встретила испытующий взгляд его глубоких синих глаз. «Ну, барышня, — сказал он, — нашли вы что-нибудь, что хотели бы прочесть? Вы ведь читаете по-немецки и по-английски?» Жёсткие нотки в его голосе сменились тёплыми и душевными. «Нет, не по-английски, — ответила я, успокоившись и осмелев от дружелюбного тона Моста. — По-немецки». Он разрешил мне взять любую книгу. Потом он засыпал меня вопросами: откуда я и чем намерена заниматься. Я сказала, что приехала из Рочестера. «Да, знаю этот город. Пиво там хорошее. Но тамошние немцы — куча Kaffern¹⁵. Почему же именно Нью-Йорк? — поинтересовался он. — Это безжалостный город. За работу платят плохо, да и ту трудно найти. У вас хватит денег на первое время?» Меня глубоко тронул интерес этого человека к незнакомой, в сущности, девушке. Я объяснила, что Нью-Йорк манил меня как центр анархистского движения, а ведь мой собеседник, я читала, — его светоч. Я пришла к нему за советом и помощью и очень хочу пообщаться. «Но не сейчас, как-нибудь в другой раз, — сказала я, — подальше от ваших чумазых чертей».

«У вас есть чувство юмора, — просиял Мост. — Оно вам понадобится, если присоединитесь к нашему движению». Он предложил мне прийти в следующую среду, помочь надписывать адреса и складывать газеты: «А после этого у нас, может, и выйдет поговорить». От Моста я уходила с несколькими книгами под мышкой; на прощание он от души пожал мне руку. Беркман ушёл вместе со мной.

Мы пошли в «У Сакса». После утреннего чая у Анны я ещё ничего не ела. Мой спутник тоже проголодался, но, видно, не так сильно, как накануне: он не заказывал дополнительных бифштексов и чашек кофе. Или, может, у него не было денег? Я намекнула, что пока располагаю некоторыми средствами, и попросила его заказать ещё что-нибудь. Он решительно отказался, сказав, что не может позволить себе принять помощь от безработной девушки, едва приехавшей в незнакомый город. Меня это рассердило и одновременно позабавило. Я объяснила, что не хотела его обидеть; я считала, что с товарищами всегда надо делиться. Беркман извинился за свою резкость, однако заверил, что и вправду не голоден. Мы покинули кафе. Стояла удушающая августовская жара. Беркман предложил отправиться в Бэттери-парк. Я не видела порт со дня прибытия в Америку, и теперь его красота захватила меня не меньше, чем в тот памятный день. Но я больше не воспринимала статую Свободы как манящий символ. Как по-детски наивна я была тогда и как далеко продвинулась с того дня!

Мы вернулись к нашему дневному разговору. Мой спутник сомневался, что я смогу без связей найти место портнихи. Я ответила, что могу попытать счастья на корсетной, перчаточной или костюмной фабрике. Беркман пообещал разузнать что-нибудь у товарищей-евреев, занятых в швейном деле, — они, конечно, помогут с работой.

Мы расстались поздним вечером. Беркман почти ничего не рассказал о себе кроме того, что был исключён из гимназии за антирелигиозное сочинение и что навсегда оставил дом. Он приехал в Соединённые Штаты в надежде обнаружить здесь свободу и равенство. Теперь же он лучше знал жизнь — эксплуатация в Америке оказалась суровее, чем где бы то ни было. А после казни чикагских анархистов Беркман убедился, что и деспотизм здесь так же силен, как в России.

«Линг был прав, когда сказал: „Если вы нападаете на нас с пушками, мы ответим динамитом“. Когда-нибудь я отомщу за наших погибших», — добавил он очень серьёзно. «И я! И я! — воскликнула я. — Их смерть подарила мне жизнь. Я посвящу себя их памяти, их делу». Он до боли сжал мою руку. «Мы товарищи. Будем теперь и друзьями — давай работать вместе». Я всё ещё внутренне трепетала от его решительности, пока мы поднимались в квартиру Минкиных.

В следующую пятницу Беркман пригласил меня на лекцию Золотарёва в доме 54 по Орчард-стрит в Ист-Сайде. Золотарёв в Нью-Хейвене произвёл на меня чрезвычайно положительное впечатление как оратор, но теперь, после Моста, новая речь показалась мне банальной, а плохо поставленный голос будил неприятные чувства. Впрочем, пылкость Золотарёва искупала всё остальное. Я была так благодарна ему за тёплый приём в день моего приезда в Нью-Йорк, что и не думала критиковать лекцию. Кроме того, я считала, что не каждому дано быть таким оратором, как Иоганн Мост. Мне он казался выдающимся человеком, самым замечательным в мире.

После окончания лекции Беркман представил меня многим людям. «Все они — хорошие, деятельные товарищи», — сказал он. «А вот это — мой приятель Федя, — добавил он, показывая на молодого человека рядом с собой. — Он тоже анархист, конечно, но не такой отличный, каким мог бы стать».

Парнишка был, наверное, сверстником Беркмана, но не настолько крепким, да и вёл он себя не так решительно. У него были довольно тонкие черты лица, чувственный рот, а глаза, пусть и слегка навывкате, выдавали в нём мечтателя. Федя¹⁶, казалось, ничуть не возражал против болтовни своего приятеля. Он добродушно улыбнулся и предложил пойти в «У Сакса», «чтобы Саша мог рассказать тебе, кто это такой — настоящий анархист».

Беркман не стал ждать, пока мы дойдём до кафе. «Хороший анархист, — начал он убеждённо, — живёт только ради Дела и отдаёт ему всё. Мой друг, — он показал на Федю, — пока ещё слишком буржуй, чтобы это понять. Он маменькин сынок, даже деньги берёт из дома». Он объяснял дальше, почему революционеру не следует принимать помощь от родителей или богатых родственников. Федино противоречивое поведение он терпел только потому, что большую часть «домашних» денег тот отдавал на нужды движения. «Если бы я ему разрешил, он бы спустил всё на разные „прекрасные“ вещи. Не так ли, Федя?» — он дружески хлопнул своего товарища по спине.

В кафе, как обычно, было людно, дымно и шумно. Некоторое время моих спутников отвлекали со всех сторон, а со мной здоровались новые нью-йоркские знакомые — ими я обзавелась за последнюю неделю. Наконец нам удалось занять столик и заказать кофе с

пирогом. Я заметила, что Федя разглядывает моё лицо. Чтобы скрыть смущение, я повернулась к Беркману. «Отчего же нельзя любить красоту? — спросила я. — Цветы, например, музыка, театр — прекрасные вещи?»

«Я не говорил, что нельзя, — ответил Беркман. — Я сказал, что неправильно тратить деньги на подобное, когда движение так нуждается в средствах. Для анархиста недопустимо наслаждаться роскошью, пока народ живёт в нищете».

«Но прекрасные вещи — это не роскошь, — настаивала я, — они необходимы. Без них жизнь станет невыносимой». Однако в глубине души я чувствовала, что Беркман прав. Революционеры жертвовали не то что красотой — собственными жизнями. Но и юный художник задел во мне чувствительную струну. Я тоже любила красоту. Нищую кенигсберскую жизнь я терпела только потому, что выезжала иногда с учителями на природу. Лес, серебристое мерцание луны в полях, зелёные венки, букеты цветов — среди этого забывалось убожество дома. Если меня бранила мать или что-то не ладилось в школе, достаточно было взглянуть на сирень в соседском саду или на пёстрые шёлковые и бархатные ткани в витринах лавок — и тогда все беды исчезали, а мир становился прекрасным и ярким. А музыка, которую я изредка слушала в Кёнигсберге, а затем и в Петербурге? Я задумалась, должна ли отказаться от всего этого, чтобы стать хорошей революционеркой. Хватит ли у меня сил? Перед тем, как расстаться в тот вечер, Федя вспомнил о словах Беркмана, что я хотела бы посмотреть город. Назавтра Федя был как раз свободен и с радостью показал бы мне некоторые достопримечательности. «Неужели и ты сидишь без работы, раз у тебя есть время на это?» — спросила я. «Ну, мой друг ведь говорил, что я художник, — засмеялся он. — Ты когда-нибудь слышала, чтобы художник работал?» Я покраснела и призналась, что раньше никогда не встречала художников. «Художники — люди вдохновения, — сказала я, — им всё даётся легко». «Разумеется, — возразил Беркман, — потому что народ на них работает». Его тон показался мне слишком суровым, и я прониклась сочувствием к юному художнику. Я попросила Федю зайти за мной на следующий день. Но уже дома я с восхищением вспоминала о страстной непреклонности «наглого юнца» — так про себя я называла Беркмана.

На следующий день Федя повёл меня в Центральный парк. На 5-й авеню он показывал мне особняки и называл их владельцев. Я читала о тех богачах, их сокровищах и причудах; народ в это время прозябал в нищете. Я возмущалась: между этими прекрасными дворцами и лачугами Ист-Сайда лежала бездна. «Да, настоящее преступление: немногие владеют всем, а остальные — ничем, — сказал художник. — Но больше всего мне не нравится, — продолжил он, — что у богачей столь дурной вкус — эти здания уродливы». Мне вспомнились рассуждения Беркмана о прекрасном. «Вы, верно, расходитесь со своим приятелем в вопросе важности красоты?» — спросила я. «Да, я с ним не согласен. Но всё-таки мой друг, прежде всего, революционер. Хотел бы я быть таким — но вот пока не таков». Меня подкупали его искренность и простота. Он не волновал меня так, как Беркман, когда тот говорил об этике революционера — Федя пробудил во мне необъяснимое щемящее чувство, которое в детстве я испытывала при виде гаснущего заката, красившего золотом попялянские луга, и чарующих звуках Петрушкиной дудочки.

На следующей неделе я пришла в редакцию Freiheit. Несколько человек уже сидели там — надписывали конверты и складывали газеты. Все говорили между собой. Мост стоял за своей конторкой. Мне тоже выделили место для работы. Способность Моста писать среди такого гама поистине восхищала. Я всё собиралась намекнуть, что ему мешают, но останавливала себя. В конце концов они сами должны знать, мешает ли Мосту их болтовня.

Вечером Мост закончил писать и накинулся на болтунов — называл их «беззубыми старухами», «гогочущими гусями» и прочими именами, которые я едва ли раньше слышала по-немецки. Он схватил с вешалки большую фетровую шляпу, позвал меня и вышел. Мы поехали по надземке. «Я отвезу вас в Террас-Гарден, — сказал Мост, — зайдём там в театр, если хотите. Сегодня дают Die Zigeunerbaron¹⁷. Или можно посидеть где-нибудь в уголке, заказать еды и питья, поговорить». Я ответила, что оперетта меня не интересует, но я и впрямь хотела бы поговорить с ним, или, скорее, чтобы он поговорил со мной. «Но не так сурово, как в редакции», — добавила я.

Он выбрал еду и вино. Названия были мне незнакомы. На ярлыке бутылки стояло: Liebfrauenmilch. «„Молоко женской любви“ — какое восхитительное название!» — воскликнула я. «Для вина — да, — ответил он, — но не для женской любви. Первое всегда возвышает дух, а вторая всегда будет лишь низменной и прозаичной. У неё дурное послевкусие».

Я почувствовала себя виноватой, будто бы ляпнула лишнее или наступила ему на мозоль. Я призналась Мосту, что никогда не пробовала вина, кроме того, что мать делала к Пасхе. Он затрясся от смеха, а я была готова расплакаться. Мост заметил моё смущение и стал вести себя сдержаннее. Затем он наполнил до краёв два бокала и со словами: «Prosit¹⁸, моя юная, наивная дама!» — залпом выпил свой. Прежде чем я осилила половину моего бокала, Мост уже почти опустошил бутылку и заказал следующую.

Он оживился, стал остроумен. Не было той горечи, ненависти и вызова, которыми дышала его речь на трибуне. Рядом со мной сидел совсем другой человек, не похожий ни на отвратительные карикатуры из рочестерских газет, ни на грубияна из редакции. Это был любезный хозяин, внимательный и сочувствующий друг. Он расспрашивал меня обо всем и впал в задумчивость, узнав, почему я порвала с прежней жизнью. Мост просил меня поразмыслить как следует, прежде чем бросаться вперёд. «Путь анархиста крут и тягостен, — сказал он, — очень многие вступают на него, но потом срываются. Слишком высокая цена — мало кто из мужчин готов её заплатить, а большинство женщин и вовсе на это неспособны. Великие исключения — Луиза Мишель и Софья Перовская». Он спросил, читала ли я о Парижской коммуне и удивительной русской революционерке? Я призналась в своём неведении. Я никогда раньше не слышала имени Луизы Мишель, но имя Перовской знала. «Почитайте об их жизни — они вас вдохновят», — сказал Мост.

Я спросила, не было ли в американском анархистском движении таких выдающихся женщин? «Да нет, одни дуры, — ответил он. — Почти все девицы приходят на митинги за мужчинами, а те и идут за ними, словно глупые рыбаки по зову Лорелеи¹⁹». В его глазах мелькнул весёлый огонёк. Он не особо верил в революционное рвение женщин. Однако я, уроженка России, могу стать другой, считал Мост — и он мне поможет. Если я говорила

искренне, то для меня найдётся много работы. «В наших рядах очень не хватает трудолюбивых молодых людей — таких же горячих, как и вы. А мне так нужна горячая дружба», — добавил он расчувствовавшись.

«Вам? — удивилась я. — У вас тысячи друзей в Нью-Йорке, да что там — по всему миру. Вас любят, вас боготворят». «Да, девочка, боготворят многие, но никто не любит. Можно оставаться одиночкой среди тысяч людей — вы не знали?» От этих слов моё сердце сжалось. Я хотела взять Моста за руку и сказать, что буду ему другом. Но я не решалась открыть рот. Что я, необразованная фабричная работница, могла дать ему — знаменитому Иоганну Мосту, вождю масс, обладателю дивного стиля и могущественного пера?

Он вызвался снабдить меня списком книг для чтения: революционные поэты — Фрейлиграт, Гервег, Шиллер, Гейне, Бёрне — и, конечно, «наша собственная» анархистская литература. Мы покинули Террас-Гарден почти на рассвете. Мост окликнул извозчика, и мы поехали к квартире Минкиных. У двери он слегка коснулся моей руки. «Откуда у вас такие шелковистые белокурые волосы? — спросил он. — А голубые глаза? Вы сказали, что вы еврейка». «С рынка, где торгуют свиньями, — ответила я, — так мне сказал отец». «У вас острый язычок, mein Kind»²⁰. Он подождал, пока я отопру дверь, потом взял за руку, пристально посмотрел в мои глаза и сказал: «Уже очень давно у меня не было такого счастливого вечера». Все моё существо при этих словах наполнила огромная радость. Я медленно поднималась по лестнице, пока отъезжал извозчик.

На следующий день я рассказала Беркману, заглянувшему к нам, о прекрасном вечере с Мостом. Лицо Александра потемнело. «Мост не имеет права сорить деньгами — ходить в дорогие рестораны, пить дорогие вина, — сказал он сурово. — Он тратит жертвования, полученные нашим движением. Его следует призвать к ответу. Я сам поговорю с ним».

«Нет, нет, не делай этого! — воскликнула я. — Я не переживу, если Моста оскорбят из-за меня. Разве у него нет права на капельку радости?»

Беркман настаивал, что я совсем недавно в движении, ничего не знаю о революционной этике и о том, что правильно, а что неправильно для революционера. Я признала его правоту и принялась уверять, что готова учиться и сделать вообще что угодно, лишь бы не обидеть Моста. Беркман вышел не попрощавшись.

Я была обескуражена, осознав, что попала под обаяние Моста. Его редкий дар, его яркая жизнь, его стремление дружить тронули меня до глубины души. И Беркман тоже очень нравился мне. Юность, искренность, самоуверенность — всё в нём непреодолимо влекло меня. Но я чувствовала, что из них двоих Мост был более практичным.

Когда Федя зашёл ко мне, он уже знал всю историю от Беркмана. Федя не удивился: он знал, каким жёстким и бескомпромиссным порой бывал наш друг, но жёстче всего он относился к самому себе. «Это всё из-за его глубочайшей любви к людям, — добавил Федя, — из-за любви, которой ещё суждено подвигнуть его на великие дела».

Целую неделю Беркман не появлялся. Наконец он пришёл и пригласил меня на прогулку по Проспект-парку. Он сказал, что любит его за естественность больше, чем Центральный. Мы

долго гуляли, восхищаясь строгой красотой парка, и под конец устроились там перекусить.

Мы говорили о петербургской и рочестерской жизни. Я рассказала о неудачном браке с Кершнером. Беркман захотел знать, какие книги о браке я читала и не под их ли влиянием решила оставить мужа. Ничего подобного я никогда не читала, но насмотрелась сполна на ужасы замужней жизни дома: грубость отца, вечные пререкания и душераздирающие сцены, заканчивавшиеся обмороками матери. Я видела, как унизительна и убога жизнь моих женатых дядь, замужних тёток и рочестерских знакомых. Всё это, вкуче с личным опытом замужества, убедило меня, что неправильно связывать людей на всю жизнь. Постоянно находиться в одном доме, в одной комнате, в одной кровати — это было мне отвратительно.

«Если я снова полюблю мужчину, то отдамся ему и без дозволения раввина или закона, — объявила я, — а когда любовь умрёт, я уйду, не спрашивая разрешения».

Мой спутник согласился с такими убеждениями — ведь все истинные революционеры отвергают брак и живут свободно. Это только усиливает любовь и помогает общему делу. Беркман рассказал мне историю Софьи Перовской и Желябова. Они были любовниками, работали в одной группе и вместе придумали план покушения на Александра II. После взрыва бомбы Перовская скрылась. У неё были все шансы спастись. Как ни уговаривали её товарищи, она отказывалась «уйти на дно», настаивая, что должна ответить за содеянное, разделить судьбу товарищей и умереть вместе с Желябовым. «Разумеется, не следовало идти на поводу у личных чувств, — говорил Беркман, — ради любви к Делу она должна была дальше жить и бороться». И вновь я почувствовала, что не согласна с ним. Разве было ошибкой умереть вместе с любимым за общее дело — это же прекрасно и величественно. Беркман стоял на своём и говорил, что для революционерки я чересчур романтична и сентиментальна, — нам предстоит трудный путь, надо стать твёрже.

В то же время я раздумывала, действительно ли этот юноша настолько твёрд или просто пытается замаскировать свою нежность, которую я интуитивно ощущала в нём. Я чувствовала, что меня к нему тянет, и страстно желала его обнять, но робела.

День закончился ослепительным закатом. Я была в приподнятом настроении. Всю дорогу домой я пела немецкие и русские песни, одна из них называлась «Веют ветры, веют буйны». «Это моя любимая песня, Эмма, дорогая, — сказал Беркман. — Я ведь могу тебя так называть? А ты будешь звать меня Сашей?» Наши губы сами нашли друг друга.

Я начала работать на корсетной фабрике — там же, где и Елена Минкина. Но спустя несколько недель дали о себе знать непосильные перегрузки. Я едва выдерживала до конца рабочего дня: больше всего меня мучили жесточайшие головные боли. Однажды я познакомилась с девушкой, и она рассказала мне о фабрике шёлковых корсетов, где давали заказы на дом. Она пообещала достать мне работу. Я знала, что не смогу шить на машинке у Минкиных, — она будет всем мешать. Кроме того, отец сестёр действовал мне на нервы. Он был раздражителен, нигде не работал и жил за счёт дочерей. Казалось, что он испытывает эротическое влечение к Анне: Минкин буквально пожирал её глазами. Ещё удивительнее была его сильная неприязнь к Елене — причина постоянных ссор. В конце концов я решила съехать от них.

Я нашла комнату на Саффолк-стрит, неподалёку от кафе «У Сакса». Она была маленькой, полутёмной, но стоила всего три доллара в месяц, и я сняла её. Там я и делала шёлковые корсеты. Иногда мне приходилось шить платье для кого-нибудь из знакомых или их друзей. Работа была тяжёлой, но с ней я освободилась от фабрики и невыносимого распорядка. Мои заработки от нового дела, когда я освоилась, стали не меньше, чем когда-то в цеху.

Мост отправился в лекционный тур. Время от времени он писал мне по несколько строк, где остроумно и едко описывал новых знакомых, язвительно обличал репортёров — те брали у него интервью, а потом очерняли в статьях. Иногда он прилагал к письмам карикатуры на него с собственными комментариями на полях: «Берегитесь женоубийцы!» или «Вот пожиратель детишек».

Карикатуры стали ещё жёстче и безжалостнее, чем те, которые мне приходилось видеть раньше. Моё отвращение к рочестерским газетам со времён чикагских событий трансформировалось в ненависть абсолютно ко всей американской прессе. Дикая мысль овладела мною, и я поделилась ей с Сашей: «Не думаешь ли ты, что редакцию какой-нибудь из этих гнилых газетёнок надо взорвать — вместе с редакторами, репортёрами и всем остальным? Это был бы хороший урок для прессы». Однако Саша покачал головой и сказал, что это бесполезно. Журналисты — всего лишь наймиты капитализма. «Надо бить в корень». Мост вернулся из поездки, и мы отправились послушать его отчёт. В мастерски подготовленном докладе было ещё больше остроумия и вызова системе, чем в предыдущих выступлениях. Мост буквально заворочил меня. Я не могла не подойти к нему после доклада и не выразить своё восхищение. «Вы пойдёте со мной в понедельник слушать „Кармен“ в Метрополитен-оперу?» — прошептал Мост. Он прибавил, что днём в понедельник будет ужасно занят — надо снабжать «чертей» материалами, — но поработает в воскресенье, если я пообещаю прийти. «С вами — хоть на край света!» — порывисто воскликнула я. В театре оказался аншлаг — места было не достать ни за какие деньги. Пришлось слушать оперу стоя. Я знала, какая пытка мне предстоит. Ещё с детства у меня был деформирован мизинец на левой ноге, и в новой обуви я мучилась по несколько недель, а сегодня как раз надела новые туфли. Но я стеснялась признаться Мосту — вдруг он сочтёт меня капризной? Я стояла с ним рядом, нас стискивала огромная толпа. Нога горела огнём. Но с первых же тактов музыки дивное пение заставило меня забыть о своих муках. После первого акта зажгли свет, и я заметила, что изо всех сил цепляюсь за Моста. Боль искажала моё лицо. «Что случилось?» — спросил Мост. «Я должна снять туфлю, — задыхалась я, — не то я закричу». Я схватилась за него и нагнулась расстегнуть пуговицы. Оперу я дослушала, опираясь на руку Моста, с туфлей в своей руке. Я не могла понять, чем наслаждаюсь больше — музыкой «Кармен» или освобождением от обуви. Мы вышли из театра под руку, я сильно хромала. Отправились в кафе; по дороге Мост поддразнивал меня за тщеславность. Он сказал, впрочем, что его порадовала моя женственность, но добавил, что носить тесные туфли — глупо. Мост выглядел абсолютно счастливым. Он хотел узнать, слышала ли я оперу раньше.

До десяти лет я не слышала музыки, кроме жалобной дудочки Петрушки, подручного конюха у отца. Визг скрипок на еврейских свадьбах и бреление пианино на уроках пения я ненавидела. Когда в Кёнигсберге я услышала оперу «Трубадур», то впервые поняла, какую радость может подарить музыка. Должно быть, моя учительница стала невольной

виновницей столь ошеломляющего эффекта: ещё до этого она познакомила меня с романами своих любимых немецких писателей и пробудила моё воображение грустной историей Трубадура и Леоноры. Я с нетерпением ждала, когда будет получено от матери разрешение сопровождать учительницу в оперу, и напряжённо предвкушала день спектакля. Хотя мы прибыли в Оперный театр за час до начала, я была вся в холодном поту — боялась, что мы уже опоздали. Учительница, вечно болезненная, не поспевала за мной, в лихорадочной спешке я искала наши места. Зал был ещё пустой и полуосвещённый, и поначалу я даже разочаровалась. Но вскоре всё преобразилось, будто по волшебству. Места быстро заняла публика: там были женщины в роскошных шелках и бархате, с мерцающими драгоценностями на обнажённых шеях и руках. Свет от хрустальных люстр отражался в украшениях зелёным, жёлтым, аметистовым. Это была сказочная страна, прекраснее любой из выдуманных книжных. Сами собой забылись учительница и скудное убранство нашего дома; я свесилась через перила и затерялась в очаровательном мире, раскинувшемся внизу. Оркестр разразился волнительной мелодией, она таинственно распространялась по потемневшему залу. У меня по спине побежали мурашки, я сидела не дыша и наслаждалась нарастающими звуками. Леонора и Трубадур воплощали мою романтическую грёзу о любви. Я жила вместе с ними, их страстная песня увлекала и дурманила меня. Их трагедию я переживала как свою, вместе с ними разделяла радость и горе. От сцены дуэта Трубадура и его матери, от её печальной песни «Ach, ich vergehe und sterbe hier»²¹ и ответа Трубадура в «O, teure Mutter»²² мне передалась глубокая горечь, сердце трепетало в тоске. Волшебство прервали громкие аплодисменты и новый поток света. Я тоже исступлённо хлопала, потом забралась на скамью и оттуда безумно кричала что-то Леоноре и Трубадуру, герою и героине моего сказочного мира. «Пойдём, пойдём», — услышала я слова учительницы; она схватила меня за юбку. Я машинально подчинилась: меня сотрясали судорожные рыдания, музыка всё ещё звучала в ушах. Потом я слушала и другие оперы в Кёнигсберге и в Петербурге, но музыкальное впечатление от «Трубадура» долго оставалось самым изумительным в моей юности. Закончив свою историю, я увидела, что взгляд Моста устремлён куда-то вдаль. Он будто пробуждался от сна. Он медленно произнёс, что никогда не слышал столь выразительного рассказа о чувствах ребёнка. Мост сказал, что с моим большим талантом следует поскорее начать выступления на публику. Он сделает из меня отличную ораторшу. «Чтобы ты заняла моё место, когда меня не станет», — прибавил он.

Я подумала, что он смеётся надо мной или просто льстит. Не верит же он по-настоящему, что когда-нибудь я займу его место и буду передавать другим тот же огонь, ту же волшебную силу. Я не хотела, чтобы Мост так обращался со мной, — я надеялась, что он станет мне настоящим товарищем, искренним и честным, без этих дурацких немецких комплиментов. Мост ухмыльнулся и осушил свой стакан за мою «первую речь на публике».

После этого мы часто выезжали куда-нибудь вместе. Он открыл мне новый мир, познакомил с музыкой, книгами, театром. Но гораздо больше значила для меня незаурядная личность этого человека — с её возвышенным и глубоким духом, с ненавистью к капитализму, с мечтой о новом обществе, где всех ждут красота и радость.

Мост стал моим идиолом. Я его боготворила.